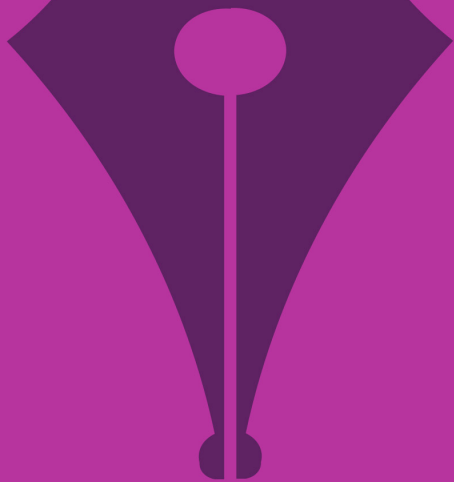


ИВАН БУНИН



АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ
ЗАМЕТКИ

Иван Алексеевич Бунин
Автобиографические заметки
Серия «Воспоминания»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=173170

Окаянные дни: Эксмо; М.; 2006

ISBN 5-04-002265-4, 5-699-19418-5

Аннотация

«Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми...»

Иван Бунин

Автобиографические заметки

Некоторые автобиографические заметки, касающиеся главным образом моей писательской жизни, были напечатаны мною лет пятнадцать тому назад в собрании моих сочинений, изданном в Берлине «Петрополисом».

Дополняю их некоторыми новыми.

(Курсив мой; делая выписки из стихов и прозы с новой орфографией, я даю их по старой.)

* * *

Моя писательская жизнь началась довольно странно. Она началась, должно быть, в тот бесконечно давний день в нашей деревенской усадьбе в Орловской губернии, когда я, мальчик лет восьми, вдруг почувствовал горячее, беспокойное желание сочинить что-то вроде стихов или сказки, будучи внезапно поражен тем, на что случайно наткнулся в какой-то книжке с картинками: я увидел в ней картинку, изображавшую какие-то дикие горы, белый холст водопада и какого-то приземистого, толстого мужика, карлика с бабьим лицом, с раздутым горлом, то есть с зобом, стоявшего под во-

допадом с длинной палкой в руке, в небольшой шляпке, похожей на женскую, с торчащим сбоку птичьим пером, а под картинкой прочел подпись, поразившую меня своим последним словом, тогда еще, к счастью, неизвестным мне: «*Встреча в горах с кретином*». Кретин! Не будь этого необыкновенного слова, карлик с зобом, с бабьим лицом и в шляпе вроде женской показался бы мне, вероятно, только очень противным, и больше ничего. Но кретин? В этом слове мне почудилось что-то страшное, загадочное, даже как будто волшебное! И вот охватило меня вдруг поэтическим волнением. В тот день оно пропало даром, я не сочинил ни одной строчки, сколько ни старался сочинить. Но не был ли этот день все-таки каким-то началом моего писательства?

Во всяком случае, можно подумать, будто некий пророческий знак для меня в том, что наткнулся я в тот день на эту картинку, ибо во всей моей дальнейшей жизни пришлось мне иметь немало и своих собственных встреч с крестинами, на вид тоже довольно противными, хотя и без зоба, из коих некоторые, вовсе не будучи волшебными, были, однако, и впрямь страшны, и особенно тогда, когда та или иная мера крестинизма сочеталась в них с какой-нибудь большой способностью, одержимостью, с какими-нибудь истерическими силами, – ведь, как известно, и это бывает, было и будет во всех областях человеческой жизни. Да что! Мне вообще суждена была жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких крестин, имена которых навеки

останутся во всемирной истории, – тех «величайших гениев человечества», что разрушали целые царства, истребляли миллионы человеческих жизней.

* * *

Я родился в Воронеже, прожил в нем целых три года, кроме того, провел однажды целую ночь, но Воронеж мне совсем неизвестен, ибо в ту ночь, что провел я в нем, я его не мог видеть: приглашен был воронежским студенческим землячеством читать на благотворительном вечере в пользу этого землячества, приехал в темные зимние сумерки, в метель, на вокзале был встречен с шампанским, немало угощался и на вечере и перед рассветом был снова отвезен на вокзал к московскому поезду уже совсем хмельной. А те три года, что я прожил в Воронеже, были моим младенчеством.

Из Воронежа родители увезли меня в свое орловское имение. Вот с этой поры я и начинаю помнить себя. Там произошло мое детство, отрочество.

В те годы уже завершалось пресловутое дворянское «оскудение» – под таким заглавием написал когда-то свою известную книгу ныне забытый Терпигорев-Атава. После него называли последним из тех, которые «воспели» погибающие дворянские гнезда, меня, а затем «воспел» погибшую красоту «вишневых садов» Чехов, имевший весьма малое представление о дворянах помещиках, о дворянских усадьбах, о

их садах, но еще и теперь чуть ли не всех поголовно пленяющий мнимой красотой своего «вишневого сада». Я Чехова за то очень многое, истинно прекрасное, что дал он, причисляю к самым замечательным русским писателям, но пьес его не люблю, мне тут даже неловко за него, неприятно вспоминать этого знаменитого Дядю Ваню, доктора Астрова, который все долбит ни к селу, ни к городу что-то о необходимости насаждения лесов, какого-то Гаева, будто бы ужасного аристократа, для изображения аристократизма которого Станиславский все время с противной изысканностью чистил ногти носовым батистовым платочком, – уж не говорю про помещика с фамилией прямо из Гоголя: Симионов-Пищик. Я рос именно в «оскудевшем» дворянском гнезде. Это было глухое степное поместье, но с большим садом, только не вишневым, конечно, ибо, вопреки Чехову, нигде не было в России садов *сплошь* вишневых: в помещичьих садах бывали только *части* садов, иногда даже очень пространные, где росли вишни, и нигде эти части не могли быть, опять-таки вопреки Чехову, *как раз* возле господского дома, и ничего не было и нет в вишневых деревьях, совсем некрасивых, как известно, корявых, с мелкой листвой, с мелкими цветочками в пору цветения (вовсе не похожими на то, что так крупно, роскошно цветет как раз под самыми окнами господского дома в Художественном театре); совсем невероятно к тому же, что Лопухин приказал рубить эти доходные деревья с таким глупым нетерпением, не давши их бывшей

владелице даже выехать из дому: рубить так поспешно понадобилось Лопухину, очевидно, лишь затем, что Чехов хотел дать возможность зрителям Художественного театра услышать стук топоров, воочию увидеть гибель дворянской жизни, а Фирсу сказать под занавес: «Человека забыли...» Этот Фирс довольно правдоподобен, но единственно потому, что тип старого барского слуги уже сто раз был написан до Чехова. Остальное, повторяю, просто несносно. Гаев, подобно тому, как это делают некоторые персонажи и в других пьесах Чехова, постоянно бормочет среди разговора с кем-нибудь чепуху, будто бы играя на бильярде: «Желтого в середину... Дуплет в угол...» Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка, то и дело истерически плачет и смеется: «Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо! Детская! Милая моя, прекрасная комната! (плачет). Шкапик мой родной! (целует шкаф). Столик мой! О, мое детство, чистота моя! (смеется от радости). Белый, весь белый сад мой!» Дальше, – точно совсем из «Дяди Вани», – истерика Ани: «Мама! Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя! Вишневый сад продан, но не плачь, мама! Мы насадим новый сад, роскошнее этого, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама!» А рядом со всем этим – студент Трофимов, в некотором роде «Буревестник»: «Вперед! – восклицает он. – Мы идем неудержимо к яркой звез-

де, которая горит там, вдали! Вперед! Не отставай, друзья!»

Раневская, Нина Заречная... Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы.

* * *

Впрочем, в моей молодости новые писатели уже почти сплошь состояли из людей городских, говоривших много несуразного: один известный поэт, – он еще жив, и мне не хочется называть его, – рассказывал в своих стихах, что он шел, «колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно; другой (Бальмонт) сравнивал лунь, вечернюю птицу из породы сов, оперением седую, таинственно-тихую, медлительную и совершенно бесшумную при перелетах, – со страстью («и страсть ушла, как отлетевший лунь»), восторгался цветением подорожника («подорожник весь в цвету!»), хотя подорожник, растущий на полевых дорогах небольшими зелеными листьями, никогда не цветет; а что до дворянских поместий и владельцев их, то Гумилев изображал их уж совсем плохо: у него в этих поместьях -

Дома косые двухэтажные

И тут же рига, скотный двор, —

а сами помещики и того удивительнее, они, оказывается, «гордятся новыми поддевками» и по тиранству, по Домострою не уступают любому Титу Титычу: дочери их будто бы пикнуть при них не смеют и, принуждаемые ими выходить замуж за постылых, нелюбимых, подумывают «стать русалками», то есть утопиться где-нибудь в речке или в пруду. А совсем недавно один из видных советских поэтов описал какого-то охотника, который идет в лесу «по дерну» и несет «в *ягдташе* золотую лису»: это так же правдоподобно, как если бы он нес в кармане собаку.

Кстати, почему свой театр Станиславский и Немирович назвали «художественным» – как бы в отличие от всех прочих театров? Разве художественность не должна быть во всяком театре – как и во всяком искусстве? Разве не претендовал и не претендует каждый актер в каждом театре быть художником и разве мало было и в России и во всех странах актеров-художников? Впрочем, Художественный театр называется теперь Художественным театром имени Горького. Прославился этот театр прежде всего и больше всего Чеховым, – и ведь даже и поныне на его занавесе чайка, но вот приказали присвоить ему имя Горького, автора лубочного и насквозь фальшивого «Дна», и Станиславский с Немировичем покорно приняли это приказание, хотя когда-то Немирович торжественно, публично, во всеуслышание всей России, сказал Чехову: «Это твой театр, Антон».

Как кремль умеет запугивать! Вот передо мной книга, изданная в Москве в 1947 году, – «Чехов в воспоминаниях современников», среди этих воспоминаний есть воспоминания М. П. Чеховой, и между прочим такие слова ее: «Люди науки, искусства, литературы и политики окружали Антона Павловича: Алексей Максимович Горький, Л. Н. Толстой, В. Короленко, Куприн, Левитан бывали здесь...» В последние годы Чехова я не только бывал, приезжая в Ялту, каждый день в его доме, но иногда гостил в нем по неделям, с М. П. Чеховой был в отношениях почти братских, однако она, теперь глубокая старуха, не посмела даже упомянуть обо мне, трусливо пишет полностью: «Алексей Максимович Горький и Вячеслав Михайлович Молотов», подобострастно говорит: «Вячеслав Михайлович Молотов выразил, очевидно, не только свое, но и всей советской интеллигенции мнение, написав мне в 1936 году: „Домик А. П. Чехова напоминает о славном писателе нашей страны, и надо, чтобы многие побывали в нем. Почитатель Чехова В. Молотов“. Какие мудрые и благосклонные слова!

«Художественный театр имени Горького». Да что! Это капля в море. Вся Россия, переименованная в СССР, покорно согласилась на самые наглые и идиотские оскорбления русской исторической жизни: город Великого Петра дали Ленину, древний Нижний Новгород превратился в город Горький, древняя столица Тверского Удельного Княжества, Тверь, – в Калинин, в город какого-то ничтожнейшего ти-

пографского наборщика Калинина, а город Кенигсберг, город Канта, в Калининград, и даже вся русская эмиграция отнеслась к этому с полнейшим равнодушием, не придавала этому ровно никакого значения, — как, например, тому, что какой-то кудрявый пьяница, очаровавший ее писарской сердцепщипательной лирикой «под гармонь, под тальянку», о котором очень верно сказал Блок: «*У Есенина талант пошлости и кощунства*», в свое время обещал переименовать Россию Китежа в какую-то «Инонию», орал, раздирал гармонию:

Ненавижу дыхание Китежа!
Обещаю вам Инонию!
Богу выщиплю бороду!
Молюсь ему матерщиною!
Я не чета каким-то там болванам,
Пускай бываю иногда и пьяным,
Зато в глазах моих прозрений дивный свет —
Я вижу все и ясно понимаю,
Что эра новая не фунт изюму вам,
Что имя Ленина шумит, как ветер, по краю!

За что русская эмиграция все ему простила? За то, видите ли, что он разудалая русская головушка, за то, что он то и дело притворно рыдал, оплакивал свою горькую судьбинуску, хотя последнее уж куда не ново, ибо какой «мальчонка», отправляемый из одесского порта на Сахалин, тоже не оплакивал себя с величайшим самовосхищением?

Я мать свою зарезал,
Отца сваво убил,
А младшую сестренку
Невинности лишил...

Простила и за то, что он – «самородок», хотя уж так много было подобных русских самородков, что Дон Аминадо когда-то писал:

Осточертели эти самые самородки
От сохи, от земли, от земледелия,
Довольно этой косоворотки и водки
И стихов с похмелия!

В сущности, не так уж много
Требуется, чтобы стать поэтами:
Запустить в Господа Бога
Тяжелыми предметами,

Расшвырять, сообразно со вкусами,
Письменными принадлежностями,
Тряхнуть кудрями русыми
И зарыдать от нежности...



Первые шаги Есенина на поэтическом поприще известны, поэт Г.В. Адамович, его современник, лично знавший его, рассказал о них наиболее точно: «Появился Есенин в Петербурге во время первой мировой войны и принят был в писательской среде с насмешливым удивлением. Валенки, голубая шелковая рубашка с пояском, желтые волосы в скобку, глаза долу, скромные вздохи: „Где уж нам, деревенщине!“ А за этим маскарадом – неистовый карьеризм, ненасытное самолюбие и славолубие, ежеминутно готовое прорваться в дерзость. Сологуб отозвался о нем так, что и повторить в печати невозможно, Кузьмин морщился, Гумилев пожимал плечами, Гиппиус, взглянув на его валенки в лорнет, спросила: „Что это на вас за гетры такие?“ Все это заставило Есенина перебраться в Москву, и там он быстро стал популярен, примкнув к „имажинистам“. Потом начались его скандалы, дебоши, „Господи, отелись“, приступы мании величия, Айседора Дункан, турнэ с ней по Европе и Америке, неистовые избиения ее, возвращение в Россию, новые женитьбы, новые скандалы, пьянство – и самоубийство...»

Очень точно говорил и сам Есенин о себе, – о том, как надо пробиваться в люди, поучал на этот счет своего приятеля Мариенгофа. Мариенгоф был пройдоха не меньше его, был величайший негодяй, это им была написана однажды та-

кая строчка о Богоматери, гнусней которой невозможно выдумать, по гнусности равная только тому, что написал о Ней однажды Бабель. И вот Есенин все-таки поучал его:

«Так, с бухты-барухты, не след лезть в литературу, Толя, тут надо вести тончайшую политику. Вон смотри – Белый. и волос уж седой, и лысина, а даже перед своей кухаркой и то вдохновенно ходит. А еще очень не вредно прикинуться дурачком. Шибко у нас дурачка любят. Знаешь, как я на Парнас всходил? Всходил в поддевке, в рубашке расшитой, как полотенце, с голенищами в гармошку. Все на меня в лорнеты, – „ах, как замечательно, ах, как гениально!“ – А я то краснею, как девушка, никому в глаза не гляжу от робости... Меня потом по салонам таскали, а я им похабные частушки распевал под тальянку... Вот и Клюев тоже так. Тот маляром прикинулся. К Городецкому с черного хода пришел, – не надо ли, мол, чего покрасить, – и давай кухарке стихи читать, а кухарка сейчас к барину, а барин зовет поэта-маляра в комнату, а поэт-то упирается: где уж нам в горницу, креслице барину перепачкаю, пол вощенный наслежу... Барин предлагает садиться – Клюев опять ломается, мнетя: да нет, мы постоим...»

Интересны были и воспоминания Родиона Березова, его бывшего приятеля, напечатанные в «Новом русском слове» в Нью-Йорке. Березов писал о Есенине с умилением:

– Помнишь, Сережа, – спрашивали Есенина его сверстники, парни того села, откуда он был родом и куда порой на-

езжал, – помнишь, как мы вытянули с тобой бредень, а там видимо-невидимо золотых карасей? Помнишь ночное, печеную картошку?

И Есенин ответил:

– Все помню, братцы, вот что было в Нью-Йорке на банкетах в мою честь, забыл, а наше, родное помню...

Но рубашки он носил, по словам Березова, только шелковые, галстуки и ботинки самые модные, хотя читал свои стихи публично тоже как «глубоко свой парень», покачивая кудрявой головой, слегка выкручивая концы строк и, конечно, неспроста напоминая, что он скандалист, хулиган, «Разудалая Русь»:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали,
Первый раз я запел про любовь,
Первый раз отрекаюсь скандалить...

Чем тут, казалось бы, восхищаться? Этой лирикой мошенника, который свое хулиганство уже давно сделал выгодной профессией, своим вечным бахвальством, как и многими прочими своими качествами?

Синий май. Заревая теплынь,
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь,
Спит черемуха в белой накидке...

Дело происходит в мае, в саду, – откуда же взялась полынь, запах которой, как известно, сухой, острый, а вовсе не липкий, а если бы и был липкий, то не мог бы «веять»?

Дальше, несмотря на спящую черемуху, -

Сад польшет, как пенный пожар,
И луна, напрягая все силы,
Хочет так, чтобы каждый дрожал
От щемящего слова «милый»...

Желание луны понятно, – недаром Бальмонт утверждал, что «каждая ящерица ищет ощущений»; но опять: откуда взялись в этой заревой теплыне полыхающий пенным пожаром сад и такая неистовая луна? А кончается все это так:

Только я в эту тишь, в эту гладь,
Под тальянку веселого мая,
Не могу ничего пожелать,
Все, как есть, без конца принимая...

Тут май оказался уже веселым и даже тальянкой; но и это не беда: восхищаются...

Он любил песню, рассказывал Березов: «Мы часто встречались с ним в редакции журнала „Красная новь“. Песни он мог слушать везде и всегда. Вот картинка: Есенин в черном котелке и модном демисезонном пальто „раглан“, в лаковых

полуботинках, с тростью в левой руке, облокотившись на выступ книжного шкапа, слушает, а мы поем...» Рисовал Березов и другие «картинки» – как жил и как «творил» Есенин (игравший и другие роли, уже не хулиганские):

«Жил Есенин в Брюсовском переулке в большом доме на восьмом этаже. Из окна комнаты открывался вид на Кремль. Комната эта принадлежала Гале Бениславской, которая стала его женой. Приятные, светлые обои, изящные гравюры. На письменном столе порядок. На обеденном, посреди комнаты, темная скатерть, ваза с фруктами. У одной из стен кушетка с красивыми подушками. У другой кровать, застеленная шелковым самаркандским покрывалом... В воскресенье Есенин творит, Галя не хочет ему мешать и с утра уезжает за город. Она ходит одна по полям и рощам и думает о том, что в эти минуты из-под его пера выливаются проникновенные строки. Мы сидим у обеденного стола, Есенин рассказывает нам о своей поездке в Америку, о мучительной тоске, пережитой им за океаном, о слезах, пролитых им, когда он очутился на родной земле и увидел покорные всем ветрам, стройные березки. Вот он идет в коридор, поднявшись, слышим его шепот: „Груша, сходите за цветами, купите самых красивых“. Я знал, что когда к сердцу Есенина подкатывает волна вдохновения, он одевается по-праздничному, как для обедни, и ставит на письменный стол цветы. Все его существо уже захвачено стихией творчества. Мы уходим, навстречу нам Груша с цветами, а в это время Галя Бенислав-

ская одиноко бродит за городом и молится небу, цветам, голубым озерам и рощам за раба Божия Сергея и за его вдохновенное творчество...»

Я читал все это, чувствуя приступы тошноты. Нет, уж лучше Маяковский! Тот, по крайней мере, рассказывая о своей поездке в Америку, просто «крыл» ее, не говорил подлых слов «о мучительной тоске» за океаном, о слезах при виде березок...

* * *

О Есенине была в свое время еще статья Владимира Ходасевича в «Современных записках»: Ходасевич в этой статье говорил, что у Есенина, в числе прочих способов оболъщать девиц, был и такой: он предлагал намеченной им девице посмотреть расстрелы в Чека, — я, мол, для вас легко могу устроить это. «Власть Чека покровительствовала той банде, которой Есенин был окружен, — говорил Ходасевич, она была полезна большевикам, как вносящая сумятицу и безобразие в русскую литературу...»

* * *

Печататься я начал в конце восьмидесятых годов. Так называемые декаденты и символисты, появившиеся через

несколько лет после того, утверждали, что в те годы русская литература «зашла в тупик», стала чахнуть, сереть, ничего не знала, кроме реализма, протокольного описывания действительности... Но давно ли перед тем появились, например, «Братья Карамазовы», «Клара Милич», «Песнь торжествующей любви»? Так ли уж реалистичны были печатавшиеся тогда «Вечерние огни» Фета, стихи В. Соловьева? Можно ли назвать серыми появлявшиеся в ту пору лучшие вещи Лескова, не говоря уже о Толстом, о его изумительных, несравненных «народных» сказках, о «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате»? И так ли уж были не новы – и по духу и по форме – как раз в то время выступавшие Гаршин, Чехов?

В литературную среду я вошел в середине девяностых годов. Тут я уже не застал, к несчастью, ни Фета, ни Полонского, не застал Гаршина, – его прекрасный человеческий образ сочетался с талантом, который, если бы не погиб в самоубийстве, развился бы, несомненно, так, что поставил бы его в ряд с самыми большими русскими писателями. Но я застал еще не только самого Толстого, но и Чехова; застал Эртеля, тоже замечательного человека и автора «Гардениных», романа, который навсегда останется в русской литературе; застал Короленко, написавшего свой чудесный «Сон Макара», застал Григоровича, – видел его однажды в книжном магазине Суворина: тут передо мной был уже легендарный человек; застал поэта Жемчужникова, одного из авто-

ров «Козьмы Пруtkова», часто бывал у него, и он называл меня своим юным другом... Но в те годы была в России уже в полном разгаре ожесточенная война народников с марксистами, которые полагали оплотом будущей революции босяческий пролетариат. В это-то время и воцарился в литературе, в одном стане ее, Горький, ловко подхвативший их надежды на босяка, автор «Челкаша», «Старухи Изергиль», – в этом рассказе какой-то Данко, «пламенный борец за свободу и светлое будущее», – такие борцы ведь всегда пламенные, – вырвал из своей груди свое пылающее сердце, дабы бежать куда-то вперед, увлекая за собой человечество и разгоняя этим пылающим сердцем, как факелом, мрак реакции. А в другом стане уже славились Мережковский, Гиппиус, Бальмонт, Брюсов, Сологуб... Всероссийская слава Надсона в те годы уже кончилась, Минский, его близкий друг, еще недавно призывавший грозу революции:

Пусть же гром ударит и в мое жилище,
Пусть я даже буду первый грома пищей! —

Минский, все-таки не ставший пищей грома, теперь пере-страивал свою лиру тоже на их лад. Вот незадолго до этого я и познакомился с Бальмонтом, Брюсовым, Сологубом, когда они были горячими поклонниками французских декадентов, равно как Верхарна, Пшибышевского, Ибсена, Гамсуна, Метерлинка, но совсем не интересовались еще пролетариатом;

это уж гораздо позднее многие из них запели, подобно Минскому:

Пролетарии всех стран!

Наша сила, наша воля, наша власть! —

подобно Бальмонту, подобно Брюсову, бывшему, когда нужно было, декадентом, потом монархистом, славянофилом, патриотом во время первой мировой войны, а кончившему свою карьеру страстным воплем:

Горе, горе! Умер Ленин!

Вот лежит он хладен, тленен!

Вскоре после нашего знакомства Брюсов читал мне, лая в нос, ужасную чепуху:

О, плачьте,

О, плачьте

До радостных слез!

Высоко на мачте

Мелькает матрос!

Лаял и другое, нечто уже совершенно удивительное, — про восход месяца, который, как известно, называется еще и луною:

Всходит месяц обнаженный

При лазоревой луне!

Впоследствии он стал писать гораздо вразумительнее, несколько лет подряд развивал свой стихотворный талант неуклонно, достиг в версификации большого мастерства и разнообразия, хотя нередко срывался и тогда в дикую словесную неуклюжесть и полное свинство изображаемого:

Альков задвинутый,
Дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,
И двое мы...

Был он, кроме того, неизменно напыщен не меньше Козьмы Пруткова, корчил из себя демона, мага, беспощадного «мэтра», «кормщика»... Потом неуклонно стал слабеть, превращаться в совершенно смехотворного стихоплета, помещанного на придумывании необыкновенных рифм:

В годы Кука, давно славные,
Бригам ребра ты дробил,
Чтоб тебя узнать, их главный – и
Неповторный опыт был...

Что до Бальмонта, то он своими выкрутасами однажды возмутил даже Гиппиус. Это было при мне на одной из литературных «пятниц» у поэта Случевского. Собралось много

народу, Бальмонт был в особенном ударе, читал свое первое стихотворение с такой самоупоенностью, что даже облизывался:

Лютики, ландыши, ласки любовные...

Потом читал второе, с отрывистой чеканностью:

Берег, буря, в берег бьется
Чуждый чарам черный челн...

Гиппиус все время как-то сонно смотрела на него в лорнет и, когда он кончил и все еще молчали, медленно сказала:

– Первое стихотворение очень пошло, второе – непонятно.

Бальмонт налился кровью:

– Пренебрегаю вашей дерзостью, но желаю знать, на что именно не хватает вашего понимания?

– Я не понимаю, что это за челн и почему и каким чарам он чужд, – отдельно ответила Гиппиус.

Бальмонт стал подобен очковой змее:

– Поэт не изумился бы мещанке, обратившейся к нему за разъяснением его поэтического образа. Но когда поэту докучает мещанскими вопросами тоже поэт, он не в силах сдерживать своего гнева. Вы не понимаете? Но не могу же я приставить вам свою голову, дабы вы стали понятливей!

– Но я ужасно рада, что вы не можете, – ответила Гиппиус.

ус. – Для меня было бы истинным несчастьем иметь вашу голову...

Бальмонт был вообще удивительный человек. Человек, иногда многих восхищавший своей «детскостью», неожиданным наивным смехом, который, однако, всегда был с некоторой бесовской хитрецей, человек, в натуре которого было немало притворной нежности, «сладостности», выражаясь его языком, но немало и совсем другого – дикого буйства, зверской драчливости, площадной дерзости. Это был человек, который всю свою жизнь поистине изнемогал от самовлюбленности, был упоен собой, уверен в себе до такой степени, что однажды вполне простодушно напечатал свой рассказ о том, как он был у Толстого, как читал ему свои стихи и как Толстой помирал со смеху, качаясь в качалке; ничуть не смущенный этим смехом, Бальмонт закончил свой рассказ так:

– Старик ловко притворился, что ему мои стихи не нравятся!

С необыкновенной наивностью рассказывал он немало и другого. Например, о том, как посетил он Метерлинка:

– Художественный театр готовился ставить «Синюю птицу» и просил меня, ехавшего как раз тогда за границу, захватить к Метерлинку, спросить его, как он сам мыслит постановку своего создания. Я с удовольствием согласился, но у Метерлинка ожидало меня нечто весьма странное. Во-первых, звонил я в его жилище чуть не целый час, во-вторых,

когда наконец дозвонился, мне отворила какая-то мегера, загородившая мне порог своей особой. И в-третьих, когда я все-таки эту преграду преступил, то предо мной оказалась такая картина: пустая комната, посредине – всего один стул, возле стула стоит Метерлинк, а на стуле сидит толстая собака. Я кланяюсь, называю себя, в полной уверенности, что мое имя небезызвестно хозяину. Но Метерлинк молчит, молча глядит на меня, а подлая собака начинает рычать. Во мне закипает страстное желание сбросить это чудовище со стула на пол и отчитать хозяина за его неучтивость. Но, сдержав свой гнев, я излагаю причину своего визита. Метерлинк молчит по-прежнему, а собака начинает уже захлебываться от рычания. «Будьте же добры, – говорю я тогда достаточно резко, – сообразовайте мне сказать, что вы думаете о постановке вашего создания?» И он наконец отверзает уста: «Ровно ничего не думаю. До свидания». Я выскочил от него со стремительностью пули и с бешенством разъяренного демона.

Рассказывал свое приключение на мысе Доброй Надежды: – Когда наш корабль, – Бальмонт никогда не мог сказать «пароход», – бросил якорь в гавани, я сошел на сушу и углубился в страну, – тут Бальмонт опять-таки не мог сказать, что он просто вышел за город, – я увидел род вигвама, заглянул в него и увидел в нем старуху, но все же прельстительную своей старостью и безобразием, тотчас пожелал осуществить свою близость с ней, но, вероятно, потому, что я, владеющий многими языками мира, не владею языком «зулю»,

эта ведьма кинулась на меня с толстой палкой, и я принужден был спастись бегством. . .

«Я, владеющий многими языками мира. . .» Не один Бальмонт так бессовестно лгал о своем знании языков. Лгал, например, и Брюсов. Это, конечно, на основании того, что сам Брюсов распространил про себя, сказано в книге какого-то Мясникова («Поэзия Брюсова»), изданной в 1945 году в Москве: «Брюсов свободно владел французским и латинским языками, читал без словаря свободно по-английски, по-итальянски, по-немецки, по-гречески и отчасти по-испански и по-шведски, имел представление о языках: санскритском, польском, чешском, болгарском, сербском, древне-еврейском, древне-египетском, арабском, древне-персидском и японском. . .» Не отставал от него и его соратник по издательству «Скорпион» С. А. Поляков: его сотрудник М. Н. Семенов рассказал недавно в газете «Русская мысль», что этот Поляков «знал все европейские языки и около дюжины восточных. . .» Вы только подумайте: все европейские языки и около дюжины восточных! Что до Бальмонта, то он «владел многими языками мира» очень плохо, даже самый простой разговор по-французски был ему труден. Однажды в Париже, в годы эмиграции, он встретился у меня с моим литературным агентом, американцем Бродлеем, и когда Бродлей заговорил с ним по-английски, покраснел, смешался, перешел на французский язык, но и по-французски путался, делал грубые ошибки. . . Как же все-таки сделал он столько перево-

дов с разных языков, даже с грузинского, с армянского? Вероятно, не раз с подстрочников. А до чего на свой лад, о том и говорить нечего. Вот, например, сонет Шелли, вот его первая строчка, – очень несложная: в пустыне, в песках, лежит великая статуя, – только и всего сказал о ней Шелли; а Бальмонт? «В нагих песках, где вечность сторожит пустыни тишину...» Что же до незнания «языка зулю», проще говоря, зулусского, и печальных последствий этого незнания, то бывало множество столь же печальных последствий и в других случаях, когда Бальмонт говорил на языках, ему более или менее известных, только тут уже в силу пристрастия Бальмонта к восклицаниям: знаю, как нещадно били его – и не раз – лондонские полицейские в силу этого пристрастия, как однажды били его ночью полицейские в Париже, потому что шел он с какой-то дамой позади двух полицейских и так бешено кричал на даму, ударяя на слово «ваш» («ваш хитрый взор, ваш лукавый ум!»), что полицейские решили, что это он кричит на парижском жаргоне воров и апашей, где слово «vache» (корова) употребляется как чрезвычайно оскорбительная кличка полицейских, еще более глупая, чем та, которой оскорбляли их в России: «фараон». А при мне было однажды с Бальмонтом такое: мы гостили с ним летом под Одессой, в немецком поселке на берегу моря, пошли как-то втроем – он, писатель Федоров и я – купаться, разделись и уже хотели идти в воду, но тут, на беду, вылез из воды на берег брат Федорова, огромный мужик, босяк из одесского

порта, вечный острожник, и, увидав его, Бальмонт почему-то впал в трагическую ярость, кинулся к нему, театрально заорал: «Дикарь, я вызываю тебя на бой!» – а «дикарь лениво смерил его тусклым взглядом, сгреб в охапку своими страшными лапами и запустил в колючие прибрежные заросли, из которых Бальмонт вылез весь окровавленный...»

Удивительный он был вообще человек, – человек, за всю свою долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно: «Зачарованный Грот».

И еще: при всем этом был довольно расчетливый человек. Когда-то в журнале Брюсова, в «Весах», называл меня, в угоду Брюсову, «малым ручейком, способным лишь журчать». Позднее, когда времена изменились, стал вдруг милостлив ко мне, – сказал, прочитав мой рассказ «Господин из Сан-Франциско»:

– Бунин, у вас есть чувство корабля!

А еще позднее, в мои нобелевские дни, сравнил меня на одном собрании в Париже уже не с ручейком, а со львом: прочел сонет в мою честь, в котором, конечно, и себя не забыл, – начал сонет так:

Я тигр, ты – лев!

Расчетлив он был и политически.

В Москве в 1930 году издавалась «Литературная энцик-

лопедия», и вот что сказано о нем в первом томе этой энциклопедии:

«Бальмонт – один из вождей русского символизма... По окончании гимназии поступил в Московский университет, откуда был исключен за участие в студенческом движении. Но общественные интересы его очень скоро уступили место эстетизму и индивидуализму. Короткий рецидив революционных настроений в 1905 году и затем издание в Париже сборника революционных стихотворений „Песни мстителя“ превратили Бальмонта в политического эмигранта. В Россию вернулся в 1913 году после царского манифеста. На империалистическую войну откликнулся шовинистически. Но в 1920 году опубликовал в журнале Наркомпроса стихотворение „Предвозвещенное“, восторженно приветствуя Октябрьскую революцию. Выехав по командировке Советского правительства за границу, перешел в лагерь белогвардейской эмиграции. Сменив свое преклонение перед гармоническим пантеизмом Шелли на преклонение перед извращенно-демоническим Бодлером, „пожелал стать певцом страстей и преступления“, как сказал о нем Брюсов. В сонете „Уроды“ прославил „кривые кактусы, побеги белены и змей и ящериц отверженные роды, чуму, проказу, тьму, убийство и беду, Гоморру и Содом“, восторженно приветствовал, как „брата“, Нерона...»

Не знаю, что такое «Предвозвещенное», которым, без сомнения, столь же «восторженно», как «чуму, проказу, тьму,

убийство и беду», встретил Бальмонт большевиков, но знаю кое-что из того, чем встретил он 1905 год, что напечатал осенью того года в большевистской газете «Новая жизнь», – например, такие строки:

Кто не верит в победу сознательных, смелых рабочих,
Тот бесчестный, тот шулер, ведет он двойную игру!

Это так глупо и грубо в смысле подхалимства, что, кажется, дальше идти некуда: почему «бесчестный», почему «шулер» и какую такую «ведет он двойную игру»? Но это еще цветочки; а вот в «Песнях мстителя» уже ягодки, такое, чему просто имени нет: тут в стихах под заглавием «Русско-му офицеру», написанных по поводу разгрома московского восстания в конце 1905 года, можно прочесть следующее:

Грубый солдат! Ты еще не постиг,
Кому же ты служишь лакеем?
Ты сопричислился, – о, не на миг! —
К подлым, к бесчестным, к злодеям!

Я тебя видел в расцвете души,
Встречал тебя вольно красивым.
Низкий. Как пал ты! В трясине! в глуши!
Труп ты – во гробе червивом!

Кровью ты залил свой жалкий мундир,
Душою ты в пропасти темной.
Проклят ты. Проклят тобою весь мир.
Нечисть! Убийца наемный!

Но и этого мало: дальше идут «песни» о царе:
Наш царь – убожество слепое,
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,
Царь – висельник...

Он трус, он чувствует с запинкой,
Но будет, час расплаты ждет!
Ты был ничтожный человек,
Теперь ты грязный зверь!

Царь губошлепствует...
О, мерзость мерзостей! Распад, зловонье гноя,
Нарыв уже набух и, пухлый, ждет ножа.
Тесней, товарищи, сплотимтесь все для боя,
Ухватим этого колючего ежа!

Царь наш весь мерзостный, с лисьим хвостом,
С пастью, приличною волку,
К миру людей призывает – притом
Грабит весь мир втихомолку,

Грабит, кощунствует, ежится, лжет,
Жалко скулит, как щенята!
Ты карлик, ты Кощей, ты грязью, кровью пьяный,
Ты должен быть убит!

Все это было напечатано в 1907 году в Париже, куда Бальмонт бежал после разгрома московского восстания, и ничуть не помешало ему вполне безопасно вернуться в Россию. А Гржебин, начавший еще до восстания издавать в Петербурге иллюстрированный сатирический журнал, первый выпуск его украсив обложкой с нарисованным на ней во всю страницу голым человеческим задом под императорской короной, даже и не бежал никуда, и никто его и пальцем не тронул... Горький бежал сперва в Америку, потом в Италию...

Мечтая о революции, Короленко, благородная душа, вспоминал чьи-то милые стихи:

Петухи поют на Святой Руси —
Скоро будет день на Святой Руси!

Андреев, изолгавшийся во всяческом пафосе, писал о ней Вересаеву:

«Побаиваюсь кадетов, ибо зрю в них грядущее начальство. Не столько строителей жизни, сколько строителей усовершенствованных тюрем. Либо победит революция и соци-

алы, либо квашеная конституционная капуста. Если революция, то это будет нечто умопомрачительное, радостное, великое, небывалое, не только новая Россия, но и новая земля!»

«И вот приходит еще один вестник к Иову и говорит ему: сыновья твои и дочери твои ели и пили вино в доме первородного брата твоего: и вот большой ветер пришел из пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на них, и они умерли...»

«Нечто умопомрачительно радостное» наконец настало. Но об этом даже Е. Д. Кускова обмолвилась однажды так:

«Русская революция проделана была зоологически».

Это было сказано еще в 1922 году и сказано не совсем справедливо: в мире зоологическом никогда не бывает такого бессмысленного зверства, – зверства ради зверства, – какое бывает в мире человеческом и особенно во время революций; зверь, гад действует всегда разумно, с практической целью: жрет другого зверя, гада только в силу того, что должен питаться, или просто уничтожает его, когда он мешает ему в существовании, и только этим и довольствуется, а не сладострастничает в смертоубийстве, не упивается им, «как таковым», не издевается, не измывается над своей жертвой, как делает это человек, – особенно тогда, когда знает свою безнаказанность, когда порой (как, например, во время революций) это даже считается «священным гневом», геройством и награждается: властью, благами жизни, орде-

нами вроде ордена какого-нибудь Ленина, ордена «Красного знамени»; нет в мире зоологическом и такого скотского оплевания, осквернения, разрушения прошлого, нет «светлого будущего», нет профессиональных устроителей всеобщего счастья на земле и не длится будто бы ради этого счастья сказочное смертоубийство без всякого перерыва целыми десятилетиями при помощи набранной и организованной с истинно дьявольским искусством миллионной армии профессиональных убийц, палачей из самых страшных вырожденков, психопатов, садистов, – как та армия, что стала набираться в России с первых дней царствования Ленина, Троцкого, Дзержинского, и прославилась уже многими меняющимися кличками: Чека, ГПУ, НКВД...

В конце девяностых годов еще не пришел, но уже чувствовался «большой ветер пустыни». И был он уже тлетворен в России для той «новой» литературы, что как-то вдруг пришла на смену прежней. Новые люди этой новой литературы уже выходили тогда в первые ряды и были удивительно не схожи ни с прежними, еще столь недавними «властителями дум и чувств», как тогда выражались. Некоторые прежние еще властвовали, но число их приверженцев все уменьшалось, а слава новых все росла. Аким Вольтинский, видно, недаром объявил тогда: «Народилась в мире новая мозговая линия!» И чуть не все из тех новых, что были во главе нового, от Горького до Сологуба, были люди от природы одаренные, наделенные редкой энергией, большими силами и больши-

ми способностями. Но вот что чрезвычайно знаменательно для тех дней, когда уже близился «ветер из пустыни»: силы и способности почти всех новаторов были довольно низкого качества, порочны от природы, смешаны с пошлым, лживым, спекулятивным, с угодничеством улице, с бесстыдной жадой успехов, скандалов...

Толстой немного позднее определил все это так:

«Удивительна дерзость и глупость нынешних новых писателей!»

Это время было временем уже резкого упадка в литературе нравов, чести, совести, вкуса, ума, такта, меры... Розанов в то время очень кстати (и с гордостью) заявил однажды: «Литература – мои штаны, что хочу, то в них и делаю...»

Впоследствии Блок писал в своем дневнике:

- Литературная среда смердит...
- Брюсову все еще не надоело ломаться, актерствовать, делать мелкие гадости...
- Мережковские – хлыстовство...
- Статья Вячеслава Иванова душная и тяжелая...
- Все ближайшие люди на границе безумия, больны, расшатаны... Устал... Болен... Вечером напился... Ремизов, Гершензон – все больны... У модернистов только завитки вокруг пустоты...
- Городецкий, пытающийся пророчить о какой-то Руси...
- Талант пошлости и кощунства у Есенина.
- Белый не мужает, восторжен, ничего о жизни, все не из

жизни...

– У Алексея Толстого все испорчено хулиганством, отсутствием художественной меры. Пока будет думать, что жизнь состоит из трюков, будет бесплодная смоковница...

– Вернисажи, «Бродячие собаки»...

Позднее писал Блок и о революции, – например, в мае 1917 года:

– Старая русская власть опиралась на очень глубокие свойства русской жизни, которые заложены в гораздо большем количестве русских людей, чем это принято думать по-революционному... Не мог сразу сделаться революционным народ, для которого крушение старой власти оказалось неожиданным «чудом». Революция предполагает волю. Была ли воля? Со стороны кучки...

И в июле того же года писал о том же:

– Германские деньги и агитация огромны... Ночь, на улице галдеж, хохот...

Через некоторое время он, как известно, впал в некий род помешательства на большевизме, но это ничуть не исключает правильности того, что он писал о революции раньше. И я привел его суждения о ней с политической целью, а затем, чтобы сказать, что та «революция», которая началась в девяностых годах в русской литературе, была тоже некоторым «неожиданным чудом», и что в этой литературной революции тоже было с самого начала то хулиганство, то отсутствие меры, те трюки, которые напрасно Блок приписывал одному

Алексею Толстому, были и впрямь «завитки вокруг пустоты». Был в свое время и сам Блок грешен насчет этих «завитков», да еще каких! Андрей Белый, употребляя для каждого слова большую букву, называл Брюсова в своих писаниях «Тайным Рыцарем Жены, Облеченной в Солнце». А сам Блок, еще раньше Белого, в 1904 году, поднес Брюсову книгу своих стихов с такой надписью:

Законодателю русского стиха,
Кормщику в темном плаще,
Путеводной Зеленой Звезде, —

меж тем, как этот «Кормщик», «Зеленая звезда», этот «Тайный Рыцарь Жены, Облеченной в Солнце», был сыном мелкого московского купца, торговавшего пробками, жил на Цветном бульваре в отеческом доме, и дом этот был настоящий уездный, третьей гильдии купеческий, с воротами, всегда запертыми на замок, с калиткою, с собакой на цепи во дворе. Познакомясь с Брюсовым, когда он был еще студентом, я увидел молодого человека, черноглазого, с довольно толстой и тугой гостиннодворческой и скуласто-азиатской физиономией. Говорил этот гостиннодворец, однако, очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос, и все время предложениями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах крайне революционно (в смысле искусства), — да здравствует только новое и долой все ста-

рое! Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах, «вот как Омар сжег Александрийскую библиотеку!» – воскликнул он. Но вместе с тем для всего нового уже были у него, этого «дерзателя, разрушителя», жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, указания, за малейшее отступление от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него, в его низкой комнате на антресолях, была удивительна.

«Тайный Рыцарь, Кормщик, Зеленая Звезда...» Тогда и заглавия книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны: «Снежная маска», «Кубок метелей», «Змеиные цветы»... Тогда, кроме того, ставили их, эти заглавия, непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал:

– Это для косых!

В моих воспоминаниях о Чехове сказано кое-что о том, как вообще относился он и к «декадентам» и к Горькому, к Андрееву.

...Вот еще одно свидетельство в том же роде.

Года три тому назад, – в 1947 году, – в Москве издана книга под заглавием «А. П. Чехов в воспоминаниях современников». В этой книге напечатаны между прочим воспоминания А. Н. Тихонова (А. Сереброва). Этот Тихонов всю жизнь состоял при Горьком. В юности он учился в Горном институте и летом 1902 года производил разведки на камен-

ный уголь в уральском имении Саввы Морозова, и вот Савва Морозов приехал однажды в это имение вместе с Чеховым. Тут, говорит Тихонов, я провел несколько дней в обществе Чехова и однажды имел с ним разговор о Горьком, об Андрееве. Я слышал, что Чехов любит и ценит Горького, и со своей стороны не поскупился на похвалу автору «Буревестника», просто задыхался от восторженных междометий и восклицательных знаков.

– Извините... Я не понимаю... – оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. – Я не понимаю, почему вы и вообще вся молодежь без ума от Горького? Вот вам всем нравится его «Буревестник», «Песнь о соколе»... Но ведь это не литература, а только набор громких слов...

От изумления я обжегся глотком чая.

– Море смеялось, – продолжал Чехов, нервно покручивая шнуток от пенсне. – Вы, конечно, в восторге! Как замечательно! А ведь это – дешевка, лубок. Вот вы прочитали «море смеялось» и остановились. Вы думаете, остановились потому, что это хорошо, художественно. Да нет же! Вы остановились просто потому, что сразу не поняли, как это так – море – и вдруг смеется? Море не смеется, не плачет, оно шумит, плещется, сверкает... Посмотрите у Толстого: солнце всходит, солнце заходит... Никто не рыдает и не смеется...

Длинными пальцами он трогал пепельницу, блюдечко, молочник и сейчас же с какой-то брезгливостью отпихивал

от себя.

– Вот вы сослались на «Фому Гордеева», – продолжал он, сжимая около глаз гусиные лапки морщин. – И опять неудачно! Он весь по прямой линии, на одном герое построен, как шашлык на вертеле. И все персонажи говорят одинаково, на «о»...

С Горьким мне явно не повезло. Я попробовал отыгратсья на Художественном театре.

– Ничего, театр как театр, – опять погасил мои восторги Чехов. – По крайней мере актеры роли знают. А Москвин даже талантливый... Вообще наши актеры еще очень некультурны...

Как утопающий за соломинку, я ухватился за «декадентов», которых считал новым течением в литературе.

– Никаких декадентов нет и не было, – безжалостно доконал меня Чехов. – Откуда вы их взяли? Жулики они, а не декаденты. Вы им не верьте. И ноги у них вовсе не «бледные», а такие же, как у всех, волосатые.

Я упомянул об Андрееве: Чехов искоса, с недоброй улыбкой поглядывал на меня:

– Ну, какой же Леонид Андреев – писатель? Это просто помощник присяжного поверенного, из тех, которые ужасно любят красиво говорить...

Мне Чехов говорил о «декадентах» несколько иначе, чем Тихонову, – не только как о жуликах.

– Какие они декаденты! – говорил он. – Они здоровенные мужики, их бы в арестантские роты отдать...

Правда – почти все были «жулики» и «здоровеннейшие мужики», но нельзя сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литературные способности) у «декадентов» времени Чехова и у тех, что увеличили их число и славились впоследствии, называясь уже не декадентами и не символистами, а футуристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно как и у прочих, – у Горького, Андреева, позднее, например, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или у педераста Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, раскрашенным как труп проститутки, – были и впрямь велики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, помешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в обычном смысле этого слова? Все они были хитры, отлично знали, что потребно для привлечения к себе внимания, но ведь обладает всеми этими качествами и большинство истериков, юродов, помешанных. И вот: какое удивительное скопление нездоровых, ненормальных в той или иной форме, в той или иной степени было еще при Чехове и как все росло оно в последующие годы! Чахоточная и совсем неда-

ром писавшаяся от мужского имени Гиппиус, одержимый манией величия Брюсов, автор «Тихих мальчиков», потом «Мелкого беса», иначе говоря, патологического Передонова, певец смерти и «отца» своего дьявола, каменно неподвижный и молчаливый Сологуб, – «кирпич в сюртуке», по определению Розанова, буйный «мистический анархист» Чулков, исступленный Волынский, малорослый и страшный своей огромной головой и стоячими черными глазами Минский; у Горького была болезненная страсть к изломанному языку («вот я вам приволок сию книжицу, черти лиловые»), псевдонимы, под которыми он писал в молодости, – нечто редкое по напыщенности, по какой-то низкопробной едкой иронии над чем-то: Иегудиил Хламида, Некто, Икс, Антином Исходящий, Самокритик Словотеков... Горький оставил после себя невероятное количество своих портретов всех возрастов вплоть до старости, просто поразительных по количеству актерских поз и выражений, то простодушных и задумчивых, то наглых, то каторжно угрюмых, то с напряженными, поднятыми изо всех сил плечами и втянутой в них шеей, в неистовой позе площадного агитатора; он был совершенно неистощимый говорун с несметными по количеству и разнообразию гримасами, то опять-таки страшно мрачными, то идиотски радостными, с закатыванием под самые волосы бровей и крупных лобных складок старого широкоскулого монгола; он вообще ни минуты не мог побыть на людях без актерства, без фразерства, то нарочито без всякой

меры грубого, то романтически восторженного, без нелепой неумеренности восторгов («я счастлив, Пришвин, что живу с вами на одной планете!») и всякой прочей гомерической лжи; был ненормально глуп в своих обличительных писаниях: «Это – город, это – Нью-Йорк. Издали город кажется огромной челюстью с неровными черными зубами. Он дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что попал в желудок из камня и железа; улицы его – это скользкое, алчное горло, по которому плывут темные куски пищи, живые люди; вагоны городской железной дороги – огромные черви; локомотивы – жирные утки...» Он был чудовищный графоман: в огромном томе какого-то Балухатова, изданном вскоре после смерти Горького в Москве под заглавием: «Литературная работа Горького», сказано: «Мы еще не имеем точного представления о полном объеме всей писательской деятельности Горького: пока нами зарегистрировано 1145 художественных и публицистических произведений его...» А недавно я прочел в московском «Огоньке» следующее: «Величайший в мире пролетарский писатель Горький намеревался подарить нам еще много, много замечательных творений; и нет сомнения, что он сделал бы это, если бы подлые враги нашего народа, троцкисты и бухаринцы, не оборвали его чудесной жизни; около *восьми тысяч* ценнейших рукописей и материалов Горького бережно хранится в архиве писателя при Институте мировой литературы Академии наук

СССР»... Таков был Горький. А сколько было еще ненормальных! Цветаева с ее непрекращавшимся всю жизнь ливнем диких слов и звуков в стихах, кончившая свою жизнь петлей после возвращения в советскую Россию; буйнейший пьяница Бальмонт, незадолго до смерти впавший в свирепое эротическое помешательство; морфинист и садистический эротоман Брюсов; запойный трагик Андреев... Про обезьяньи неистовства Белого и говорить нечего, про несчастного Блока – тоже: дед по отцу умер в психиатрической больнице, отец «со странностями на грани душевной болезни», мать «неоднократно лечилась в больнице для душевно больных»; у самого Блока была с молодости жестокая цинга, жалобами на которую полны его дневники, так же как и на страдания от вина и женщин, затем «тяжелая психастения, а незадолго до смерти помрачение рассудка и воспаление сердечных клапанов...» Умственная и душевная неуравновешенность, переменчивость – редкая: «гимназия отталкивала его, по его собственным словам, страшным плебейством, противным его мыслям, манерам и чувствам»; тут он готовится в актеры, в первые университетские годы подражает Жуковскому и Фету, пишет о любви «среди розовых утр, алых зорь, золотистых долин, цветистых лугов»; затем он подражатель В. Соловьева, друг и соратник Белого, «возглавлявшего мистический кружок аргонавтов»; в 1905 году «идет в толпе с красным знаменем, однако вскоре совершенно охладевает к революции...» В первую великую войну он устраивается на

фронте чем-то вроде земгусара, приезжая в Петербург, говорит Гиппиус то о том, как на войне «весело», то совсем другое – как там скучно, гадко, иногда уверяет ее, что «всех жидов надо повесить»...

(Последние строки взяты мною из «Синей книги» Гиппиус, из ее петербургских дневников, а прочее относительно Блока – из биографических и автобиографических сведений о нем.)

Приступы кощунства, богохульства были у Блока тоже болезненны. В так называемом Ленинграде издавался в конце двадцатых годов, «при ближайшем участии Горького, Замятина и Чуковского», журнал «Русский Современник», преследовавший, как сказано в его программе, «только культурные цели». И вот, в третьей книге этого культурного журнала были напечатаны некоторые «драгоценные литературные материалы», среди же них нечто особенно драгоценное, а именно:

«Замыслы, наброски и заметки Александра Александровича Блока, извлеченные из его посмертных рукописей».

И впрямь – среди этих «замыслов» есть кое-что замечательное, особенно один замысел о Христе. Сам Горький относился к Христу тоже не совсем почтительно, называл Его, ухмыляясь, «большим педантом». Но в этом отношении куда же было Горькому до Демьяна Бедного, до Маяковского и, увы, до Блока! Оказывается, что Блок замышлял написать не более, не менее, как «Пьесу из жизни Иисуса». И вот что

было в проспекте этой «пьесы»:

– Жара. Кактусы жирные. Дурак Симон с отвисшей губой удит рыбу.

– Входит Иисус: Не мужчина и не женщина.

– Фома (неверный!) – контролирует.

– Пришлось уверовать: заставили и надули.

– Вложил персты и распространителем стал.

– А распространять заставили инквизицию, папство, икающих попов – и Учредилку...

Поверят ли почитатели «великого поэта» в эти чудовищные низости? А меж тем я выписываю буквально. Но дальше:

– Андрей Первозванный. Слоняется, не стоит на месте.

– Апостолы воруют для Иисуса вишни, пшеницу.

– Мать говорит сыну: неприлично. Брак в Кане Галилейской.

– Апостол брякнет, а Иисус разовьет.

– Нагорная проповедь: митинг.

– Власти беспокоятся. Иисуса арестовали. Ученики, конечно, улизнули...

А вот заключение конспекта этой «Пьесы»:

– Нужно, чтобы Люба почитала Ренана и по карте отметила это маленькое место, где он ходил...

«Он» написан, конечно, с маленькой буквы...

В этой нелепости («а распространять заставили икающих попов – и Учредилку»), в богохульстве чисто клиническом (чего стоит одна эта строка, – про апостола Петра – «дурак Симон с отвисшей губой») есть, разумеется, нечто и от заразы, что была в воздухе того времени. Богохульство, кощунство, одно из главных свойств революционных времен, началось еще с самыми первыми дуновениями «ветра из пустыни». Сологуб уже написал тогда «Литургию Мне», то есть себе самому, молился дьяволу: «отец мой, Дьявол!» и сам притворялся дьяволом. В петербургской «Бродячей собаке», где Ахматова сказала: «Все мы грешницы тут, все блудницы», поставлено было однажды «Бегство Богоматери с Младенцем в Египет», некое «литургическое действие», для которого Кузьмин написал слова, Сац сочинил музыку, а Судейкин придумал декорацию, костюмы, – «действие», в котором поэт Потемкин изображал осла, шел, согнувшись под прямым углом, опираясь на два костыля, и нес на своей спине супругу Судейкину в роли Богоматери. И в этой «Собаке» уже сидело не мало и будущих «большевиков»: Алексей Толстой, тогда еще молодой, крупный, мордатый, являлся туда важным баринном, помещиком, в енотовой шубе, в бобровой шапке или в цилиндре, стриженный а ля мужик; Блок приходил с каменным, непроницаемым лицом красавца и поэта; Маяков-

ский в желтой кофте, с глазами сплошь темными, нагло и мрачно вызывающими, со сжатыми, извилистыми, жабыми губами... Тут надо кстати сказать, что умер Кузьмин, – уже при большевиках, – будто бы так: с Евангелием в одной руке и с «Декамероном» Бокаччио в другой.

При большевиках всякое кощунственное непотребство расцвело уже махровым цветом. Мне писали из Москвы еще лет тридцать тому назад:

«Стою в тесной толпе в трамвайном вагоне, кругом улыбающиеся рожи, „народ-богоносец“ Достоевского любитесь на картинке в журнальчике „Безбожник“: там изображено, как глупые бабы „причащаются“, – едят кишки Христа, – изображен Бог Саваоф в пенсне, хмуро читающий что-то Демьяна Бедного...»

Вероятно, это был «Новый завет без изъяна евангелиста Демьяна», бывшего много лет одним из самых знатных вельмож, богачей и скотоподобных холуев советской Москвы.

Среди наиболее мерзких богохульников был еще Бабель. Когда-то существовавшая в эмиграции эсеровская газета «Дни» разбирала собрание рассказов этого Бабеля и нашла, что «его творчество не равноценно»: «Бабель обладает интересным бытовым языком, без натяжки стилизует иногда целые страницы – например, в рассказе „Сашка-Христос“. Есть кроме того вещи, на которых нет отпечатка ни революции, ни революционного быта, как, например, в рассказе „Иисусов грех“... К сожалению, – говорила дальше газета, – хотя я

не совсем понимал, о чем тут сожалеть? – „к сожалению, особенно характерные места этого рассказа нельзя привести за предельной грубостью выражений, а в целом рассказ, думается, не имеет себе равного даже в антирелигиозной советской литературе по возмутительному тону и гнусности содержания: действующие его лица – Бог, Ангел и баба Арина, служащая в номерах и задавившая в кровати Ангела, данного ей Богом вместо мужа, чтобы не так часто рожала...“ Это был приговор, довольно суровый, хотя несколько и несправедливый, ибо „революционный отпечаток“ в этой гнусности, конечно, был. Я, с своей стороны, вспоминал тогда еще один рассказ Бабея, в котором говорилось, между прочим, о статуе Богоматери в каком-то католическом костеле, но тотчас старался не думать о нем: тут гнусность, с которой было сказано о грудях Ее, заслужила уже плахи, тем более, что Бабель был, кажется, вполне здоров, нормален в обычном смысле этих слов. А вот в числе ненормальных вспоминается еще некий Хлебников.

Хлебникова, имя которого было Виктор, хотя он переименовал его на какого-то Велимира, я иногда встречал еще до революции (до февральской). Это был довольно мрачный малый, молчаливый, не то хмельной, не то притворявшийся хмельным. Теперь не только в России, но иногда и в эмиграции говорят и о его гениальности. Это, конечно, тоже очень глупо, но элементарные залежи какого-то дикого художественного таланта были у него. Он слыл известным футу-

ристом, кроме того и сумасшедшим. Однако был ли впрямь сумасшедший? Нормальным он, конечно, никак не был, но все же играл роль сумасшедшего, спекулировал своим сумасшествием. В двадцатых годах, среди всяких прочих литературных и житейских известий из Москвы, я получил однажды письмо и о нем. Вот что было в этом письме:

Когда Хлебников умер, о нем в Москве писали без конца, читали лекции, называли его гением. На одном собрании, посвященном памяти Хлебникова, его друг П. читал о нем свои воспоминания. Он говорил, что давно считал Хлебникова величайшим человеком, давно собирался с ним познакомиться, поближе узнать его великую душу, помочь ему материально: Хлебников, «благодаря своей житейской беспечности», крайне нуждался. Увы, все попытки сблизиться с Хлебниковым оставались тщетны: «Хлебников был неприступен». Но вот однажды П. удалось-таки вызвать Хлебникова к телефону. – «Я стал звать его к себе, Хлебников ответил, что придет, но только попозднее, так как сейчас он блуждает среди гор, в вечных лесах, между Лубянской и Никольской. А затем слышу стук в дверь и вижу: Хлебников!» – На другой день П. перевез Хлебникова к себе, и Хлебников тотчас же стал стаскивать с кровати в своей комнате одеяло, подушки, простыни, матрац и укладывать все это на письменный стол, затем влез на него совсем голый и стал писать свою книгу «Доски Судьбы», где главное – «мистическое число 317». Грязен и неряшлив он был до такой степени, что комната

вскоре превратилась в хлев, и хозяйка выгнала с квартиры и его и П. Хлебников был, однако, удачлив – его приютил у себя какой-то лабазник, который чрезвычайно заинтересовался «Досками Судьбы». Прожив у него недели две, Хлебников стал говорить, что ему для этой книги необходимо побывать в астраханских степях. Лабазник дал ему денег на билет, и Хлебников в восторге помчался на вокзал. Но на вокзале его будто бы обокрали. Лабазнику опять пришлось раскошелиться, и Хлебников наконец уехал. Через некоторое время из Астрахани получил письмо от какой-то женщины, которая умоляла П. немедленно приехать за Хлебниковым: иначе, писала она, Хлебников погибнет. П., разумеется, полетел в Астрахань с первым же поездом. Приехав туда ночью, нашел Хлебникова и тот повел его за город, в степь, а в степи стал говорить, что ему «удалось снести со всеми 317-ю Председателями», что это великая важность для всего мира, и так ударил П. кулаком в голову, что поверг его в обморок. Придя в себя, П. с трудом побрел в город. Здесь он после долгих поисков, уже совсем поздней ночью, нашел Хлебникова в каком-то кафе. Увидев П., Хлебников опять бросился на него с кулаками: – «Негодяй! Как ты смел воскреснуть! Ты должен был умереть! Я ведь уже снесся по всемирному радио со всеми Председателями и избран ими Председателем Земного Шара!» – С этих пор отношения между нами испортились и мы разошлись, говорил П. Но Хлебников был не дурак: возвратясь в Москву, вскоре нашел себе нового ме-

цената, известного булочника Филиппова, который стал его содержать, исполняя все его прихоти, и Хлебников поселился, по словам П., в роскошном номере отеля «Люкс» на Тверской и дверь свою украсил снаружи цветистым самодельным плакатом: на этом плакате было нарисовано солнце на лапках, а внизу стояла подпись:

«Председатель Земного Шара. Принимает от двенадцати дня до половины двенадцатого дня».

Очень лубочная игра в помешанного. А затем помешанный разразился в угоду большевикам виршами вполне разумными и выгодными:

Нет житья от господ!
Одолели, одолели!
Нас заели!
Знатных старух,
Стариков со звездой
Нагишом бы погнать,
Все господское стадо,
Что украинский скот,
Толстых, седых,
Молодых и худых,
Нагишом бы все снять
И сановное стадо
И сановную знать
Голяком бы погнать,
Чтобы бич бы свистал,
В звездах гром громыхал!

Где пощада? Где пощада?
В одной паре с быком
Стариков со звездой
Повести голяком
И погнать босиком,
Пастухи чтобы шли
Со взведенным курком.
Одолели! Одолели!
Околели! Околели!

И дальше – от лица прачки:

Я бы на живодерню
На одной веревке
Всех господ привела
Да потом по горлу
Провела, провела,
Я белье мое всполосну, всполосну!
А потом господ
Полосну, полосну!
Крови лужица!
В глазах кружится!

У Блока, в «Двенадцати», тоже есть такое:

Уж я времячко
Проведу, проведу...
Уж я темечко
Почешу, почешу...

Уж я ножичком
Полосну, полосну!

Очень похоже на Хлебникова? Но ведь все революции, все их «лозунги» однообразны до пошлости: один из главных – режь попов, режь господ! Так писал, например, еще Рылеев:

Первый нож – на бояр, на вельмож,
Второй нож – на попов, на святош!

И вот что надо отметить: какой «высокий стиль» был в речах политиков, в революционных призывах поэтов во времена первой революции, затем перед началом второй! Был, например, в Москве поэт Сергей Соколов, который, конечно, не удовольствовался такой птицей, как сокол, назвал себя Кречетовым, а своему издательству дал название «Гриф», стихи же писал в таком роде:

Восстань! Карай врагов страны,
Как острый серп срезает колос!
Вперед! Туда, где шум и крик,
Где плещут красные знамена!
И когда горячей крови
Ширь полей вспоит волна,
Всколосись в зеленой нови,
Возрожденная страна!

Кровь и новь в подобных стихах, конечно, неизбежны. И

еще пример: революционные стихи Максимилиана Волошина:

Народу русскому: я – грозный Ангел Мщенья!
Я в раны черные, в распаханную новь
Кидаю семена! Прошли века терпенья,
И голос мой – набат! Хоругвь моя как кровь!

Зато, когда революция осуществляется, «высокий стиль» сменяется самым низким, – взять хоть то, что я выписал из «Песней мстителя». С воцарением же большевиков лиры поэтов зазвучали уж совсем по-хамски:

Сорвали мы корону
Со старого Кремля!
За заборами низкорослыми
Гребем мы огненными веслами!

Это ли не чудо: низкорослые заборы. И дальше:

Взяли мы в шапке
Нахально сели,
Ногу на ногу задрал!
Исуса – на крест, а Варраву
Под руки – и по Тверскому!



Я был в Петербурге в последний раз, – в последний раз в жизни! – в начале апреля 17-го года, в дни приезда Ленина. Я был тогда, между прочим, на открытии выставки финских картин. Там собрался «весь Петербург» во главе с нашими тогдашними министрами Временного правительства, знаменитыми думскими депутатами, и говорились финнам исторически-подобострастные речи. А затем я присутствовал на банкете в честь финнов. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел тогда в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же, весь «цвет русской интеллигенции», то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, министры, депутаты и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но надо всеми возобладал Маяковский. Я сидел за ужином с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что вдруг подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов: Галлен глядел на него во все глаза – так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся.

– Вы меня очень ненавидите? – весело спросил меня Маяковский.

Я ответил, что нет: «Слишком много чести было бы вам!» Он раскрыл свой корытообразный рот, чтобы сказать что-то еще, но тут поднялся для официального тоста Милюков, наш тогдашний министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что Милюков опешил. Через минуту, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И Милюков развел руками и сел. Но тут поднялся французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган спасует. Как бы не так! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. И мало того, тотчас началось дикое и бессмысленное неистовство и в зале: сподвижники Маяковского тоже заорали и стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать. И вдруг покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из русских слов, ему известных:

– Много! Много! Много!

Одноглазый пещерный Полифем, к которому попал Одиссей в своих странствиях, намеревался сожрать Одиссея. Маяковского еще в гимназии пророчески прозвали Идиотом Полифемовичем. Маяковский и прочие были довольно про-

жорливы и весьма сильны своим одноглазием. Маяковские казались некоторое время только площадными шутами. Но не даром Маяковский назвал себя футуристом, то есть человеком будущего: он уже чуял, что полифемское будущее принадлежит несомненно им, Маяковским, и что они, Маяковские, вскоре уже навсегда заткнут рот всем прочим трибунам еще великолепнее, чем он сделал на пиру в честь Финляндии...

«Много»! Да, уж слишком много дала нам судьба «великих, исторических» событий. Слишком поздно родился я. Родись я раньше, не таковы были бы мои писательские воспоминания. Не пришлось бы мне пережить то, что так нераздельно с ними: 1905 год, потом первую мировую войну, вслед за нею 17-й год и его продолжение, Ленина, Сталина, Гитлера... Как не позавидовать нашему праотцу *Нюю*! Всего *один* потоп выпал на долю ему. И какой прочный, уютный, теплый ковчег был у него и какое богатое продовольствие: целых семь пар чистых и две пары нечистых, а все-таки очень съедобных тварей. И вестник мира, благоденствия, голубь с оливковой ветвью в клюве, не обманул его, – не то что нынешние голуби («товарища» Пикассо). И отлично сошла его высадка на Арарате, и прекрасно закусил он и выпил и заснул сном праведника, пригретый ясным солнцем, на первозданно чистом воздухе новой вселенской весны, в мире, лишенном всей допотопной скверны, – не то что наш мир, возвратившийся к допотопному! Вышла, правда, у Ноя

нехорошая история с сыном Хамом, да ведь на то и был он Хам. А главное: ведь на весь мир был тогда лишь один, лишь единственный Хам. А теперь?

* * *

Весной того же семнадцатого года я видел князя Кропоткина, столь ужасно погибшего в полифемском Царстве Ленина.

Кропоткин принадлежал к знатной русской аристократии, в молодости был одним из наиболее приближенных к императору Александру Второму, затем бежал в Англию, где и прожил до русской февральской революции, до весны 1917 года. Вот тогда я и познакомился с ним в Москве и весьма был тронут и удивлен при этом знакомстве: человек, столь знаменитый на всю Европу, – знаменитый теоретик анархизма и автор «Записок революционера», знаменитый еще и как географ, путешественник и исследователь восточной Сибири и полярных областей, – оказался маленьким старичком с розовым румянцем на щеках, с легкими, как пух, остатками белых волос, живым и каким-то совершенно очаровательным, младенчески наивным, милым в разговоре, в обращении. Живые, ясные глаза, добрый, доверчивый взгляд, быстрая и мягкая великосветская речь – и это трогательное младенчество...

Он окружен был тогда всеобщим почетом и всяческими

заботами о нем, он, революционер, – хотя и весьма мирный, – возвратившийся на родину после стольких лет разлуки с ней, был тогда гордостью февральской революции, наконец-то «освободившей Россию от царизма», его поселили в чьем-то, уже не помню в чьем именно, барском особняке на одной из лучших улиц дворянской части Москвы. В конце этого года шли собрания на этой квартире Кропоткина «для обсуждения вопроса о создании Лиги Федералистов». Конец того года – что уже было тогда в России? А вот русские интеллигенты собирались и создавали какую-то «Лигу» в том кровавом, сумасшедшем доме, в который превратилась тогда вся Россия.

Но что «Лига»? Дальше было вот что:

В марте 1918 большевики выгнали его из особняка, реквизировали особняк для своих нужд. Кропоткин покорно переехал на какую-то другую квартиру – и стал добиваться свидания с Лениным: в пренаивнейшей надежде заставить его раскаяться в том чудовищном терроре, который уже шел тогда в России, и наконец добился свидания. Он почему-то оказался «в добрых отношениях» с одним из приближенных Ленина, с Бонч-Бруевичем, и вот у него и состоялось в Кремле это свидание. Совершенно непонятно: как мог Кропоткин быть «в добрых отношениях» с этим редким даже среди большевиков негодяем? Оказывается, все-таки был. И мало того: пытался повернуть деяния Ленина «на путь гуманности». А потерпев неудачу, «разочаровался» в Ленине и гово-

рил о своем свидании с ним, разводя руками:

– Я понял, что убеждать этого человека в чем бы то ни было совершенно напрасно! Я упрекал его, что он, за покушение на него, допустил убить две с половиной тысячи невинных людей. Но оказалось, что это не произвело на него никакого впечатления...

А затем, когда большевики согнали князя анархиста и с другой квартиры, «оказалось», что надо переселяться из Москвы в уездный город Дмитров, а там существовать в столь пещерных условиях, какие и не снились никакому анархисту. Там Кропоткин и кончил свои дни, пережив истинно миллион терзаний: муки от голода, муки от цинги, муки от холода, муки за старую княгиню, изнемогавшую в непрерывных заботах и хлопотах о куске гнилого хлеба... Старый, маленький, несчастный князь мечтал раздобыть себе валенки. Но так и не раздобыл, – только напрасно истратил несколько месяцев! – на получение ордера на эти валенки. А вечера он проводил при свете лучины, дописывая свое посмертное произведение «Об этике»...

Можно ли придумать что-нибудь страшнее? Чуть не вся жизнь, жизнь человека, бывшего когда-то в особой близости к Александру Второму, была ухлопана на революционные мечты, на грезы об анархическом рае, – это среди настое, существ, еще не совсем твердо научившихся ходить на задних лапах! – и кончилась смертью в холоде, в голоде, при дымной лучине, при наконец-то осуществившейся револю-

ции, над рукописью о человеческой этике.